

«КАК И ЧЕМ И КТО ВИНОВАТ?»

Айрапетян Р.Г.

Во второй половине XVIII века в европейской литературе появляется особый интерес к жанру воспитательного романа. В XIX веке как в Европе, так и в России интерес этот не ослабел, а наоборот, проблема семьи, взаимоотношений взрослых и детей становится излюбленной темой многих писателей, она как бы рвется из круга повседневности и становится центральной в произведениях Гете, Диккенса, Гюго, Пушкина, Бальзака. Достоевский был прекрасно знаком с творчеством названных писателей, отзвуки их произведений слышны в романах, повестях, рассказах и публицистике писателя. Сразу же по окончании училища Достоевский начал переводить Бальзака, и в 1844 году он опубликовал перевод романа «Евгения Гранде» (это был первый перевод на русский язык); в 1862 году он пишет «Предисловие к публикации перевода романа В. Гюго «Собор Парижской богородицы», в котором говорит об особом предназначении этого романа.

Достоевским давалась очень высокая оценка и произведениям Диккенса. В своих воспоминаниях А.И. Суворина рассказывает, как Федор Михайлович, узнав о том, что она не читала Диккенса, назвал её счастливой, ибо ей ещё предстояло прочесть этого великого писателя. Ставя Диккенса рядом с Гоголем, Достоевский писал: «Наш жанр ещё до Гоголя и до Диккенса не дорос»¹. В «Дневниках писателя» и «Записных тетрадях» мы можем найти многочисленные восторженные отзывы Федора Михайловича о творчестве Диккенса. Произведения Диккенса были весьма популярны в России, по выходе в свет почти все они переводились на русский язык (ввиду спешки — зачастую неудачно), в литературных журналах публиковались пространственные рецензии о них.

Десятки раз в своих статьях упоминает имя Диккенса и Белинский. В статье «Парижские тайны. Роман Эжена Сю» Белинский отмечает тот факт, что во многих романах Диккенса, как правило, описывается участь брошенного «на произвол судьбы» ребенка, и хотя завязка «избитая», однако писатель, обладая «огромным поэтическим талантом», «умеет пользоваться этою истасканною завязкою»². А «Парижские тайны» — «неловкое и неудачное подражание романам Диккенса»³.

Во «Взгляде на русскую литературу 1847 года», рассуждая о праве искусства «служить общественным интересам», Белинский пишет: «Говорят, Диккенс своими романами сильно способствовал в Англии улучшению учебных заведений, в которых всё основано было на бесщадном дранье розгами и варварском обращении с детьми»⁴.

И, конечно, велико было влияние Диккенса на писателей современников, в том числе и на Достоевского. Защита обездоленного ребенка — стержневая тема произведений Диккенса. Оскорбленное безвинное дитя и его страдания — один из символов творчества Достоевского.

В письме к Вс.С. Соловьёву от 11 января 1876 года Достоевский писал: «В 1-м № будет (речь идет о первом номере «Дневника писателя. 1876», — А.Р.), во-первых, самое маленькое *предисловие*, затем кое-что о *детях* — о детях вообще, о детях с отцами, о детях без отцов в особенности, о детях на елках, без елок, о детях преступниках... Разумеется, это не какие-нибудь строгие этюды или отчеты, а лишь несколько горячих слов и указаний ...» (XXIX, книга II, 72).

После весьма напряженного года, каким был 1875-ый (шла публикация «Подростка» и работа над последней частью романа, а с ноября писатель начал собирать материалы для будущего журнала), Достоевский в 1876 году сумел возобновить издание «Дневника». Обилие же материалов позволило писателю посвятить теме «детства» два номера (январский и февральский) «Дневника писателя. 1876»⁵.

Тема «теперешних» «отцов и детей» рассматривается Достоевским и в других статьях первых двух глав январского номера «Дневника писателя. 1876.» Писатель достаточно кратко излагает идею недавно вышедшего в свет романа «Подросток»: «Всё это выкидыши общества, «случайные» члены «случайных» семей» (XXII, 8). Затем писатель приводит газетную статью об убийстве мешанки Перовой, у которой остались дети-сироты. И Достоевский восклицает: «Вот опять «случайное семейство», опять дети с мрачным впечатлением в юной душе» (XXII, 8).

Писатель предвидит возможные последствия столь жестокого удара судьбы, выпавшего на долю несчастных детей: «... раннее страдание самолюбия, краска ложного стыда за прошлое и глухая, замкнувшаяся в себе ненависть к людям, и это, может быть, во весь век» (XXII, 8).

Эмоциональным срезом всего январского номера «Дневника писателя. 1876.» следует считать святочный рассказ «Мальчик у Христа на елке». Литературоведом Фридендером установлен поэтический источник, который лег в основу фантастического рассказа Достоевского, — это стихотворение немецкого поэта Фридриха Рюккерта «Елка сироты». Конечно, по содержанию и по своей форме «Мальчик у Христа на елке» восходит также и к другим образцам святочных литературных произведений. Так, Достоевский в своем маленьком рассказе развил намеченную Диккенсом в «Рождественской песни в прозе» тему «душевного холода», «каменного сердца», из которого «ещё никому ни разу в жизни не удалось высечь ... хоть искру сострадания»⁶. Вместе с тем Скрудж из «Рождественской песни в прозе», всюду вносящий «леденящую атмосферу», каким-то чудодейственным образом перерождается в доброго рождественского дядюшку⁷.

И, конечно же, в Петербурге Достоевского, «самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре» (V, 101), что-либо подобное не может произойти.

Диккенс весьма скуп описывает вечерний город перед святками: промозглая, «унылая погода», да туман, которым окутан весь город, да прохожие, снующие взад и вперед. Вместе с тем весь город в ожидании чуда, которое непременно произойдет в Рождество. «Это единственные дни во всем календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, свободно раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних — даже в неимущих и обездоленных — таких же людей, как они сами, бредущих одной с ними дорогой к могиле, а не какие-то существа иной породы, которым подобает идти другим путем»⁸. Но самым обездоленным оказался сквалыга Скрудж: он одинок, лишен тепла

семейного очага, с жестокостью Скруджа не может сравниться даже «самая лютая метель», ему неведомы радость общения, милосердие, доброты. И вдруг ... Какое счастье! В светлый праздник Скрудж сбрасывает со своих плеч всю эту тяжесть.

У Достоевского в «Мальчике у Христа на елке» перед Рождеством преобразился лишь Петербург. Он описан глазами шестилетнего мальчика, заброшенного из провинции в столицу: «Господи, какой город!» «Вот и опять улица, — ох, какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то!» «И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз!». Холодный свет бездушного праздничного Петербурга противопоставлен черному мраку захолустного городишка, «откудова» приехал мальчик: «Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь — господи, кабы покушать!» (XXII, 15)⁹. Пальчики окоченели, не сгибаются и ноют и болят, а он, как загнанный несмышленный волчонок, пытается убежать ... Куда? От кого? И плачет «дитё», плачет от боли и бежит. «Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, господи!» (XXII, 16). Но это не «вдруг», которое обычно в святочных рассказах становится счастливой случайностью. Ничего чудесного в рассказе не происходит, мальчик и не надеется на чудо. Да и за праздником елки ребёнок наблюдает «сквозь стекло», писатель неоднократно подчеркивает, что празднество — за стеклом, оно призрачно для мальчика. «Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то ... Вот и музыка, сквозь стекло слышно». «И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие — миндальные, красные, желтые...» (XXII, 15). «Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем — совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, — только вот из-за стекла не слышно» (XXII, 16).

Счастье и радость совсем рядом, но, вопреки канонам святочного рассказа, они не для сироты. Мальчик будто оказался в ирреальном мире. Он бежит по улицам огромного таинственного города и не ведает, что ждет его впереди. Ребенок не знает и о том, как он с матерью оказался в этом городе, по какому случаю зажжено столько огней, он не ведает даже о смерти матери. Время от времени его привлекают праздничные витрины, свет в окнах домов, но это лишь на минуту. Он бежит от всего: ему нет места на этом празднике; он не мечтает, не надеется на что-то. Ничего в рассказе сверхъестественного не происходит, более того, в рождественскую ночь голодный ребенок замерзает на чужом дворе, в подворотне, за дровами (напомним: Малютка Тим выздоравливает именно после святок). Чудо не происходит даже на бытовом уровне. Писатель неоднократно напоминает, что мальчику очень хотелось есть («господи, кабы покушать!»), однако никто его так и не накормил.

И видит сирота через стекло столы, а на них «пироги, всякие — миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто

придет, они тому дают пироги, а открывается дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался!» (XXII, 15).

Не подаяние, от сердца идущее, а подачку («копеечку») презрительно сунула барыня в руку мальчику. «А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать её» (XXII, 15). Копеечка не просто покатила, она зазвенела, однако мальчику не до неё.

И случилось то, что и могло случиться с сиротой в чужом городе среди людей с «каменным сердцем». Концовка рассказа воистину трагична: ни умиления, ни раскаяния в ней. Никто так и не пожалел его, и когда другой мальчик, постарше и, видимо, такой же бездомный, сорвал с него картуз и опрокинул ребенка оземь, то стоящие у праздничной витрины люди закричали (кто смел нарушить их покой!), мальчик «обомлел», «вскочил и бежать — бежать».

Ребёнок, умирая в рождественскую ночь, слышит во сне пение матери, видит прекрасную елку, «Христову елку», вокруг летают мальчики и девочки, у которых никогда не было елки. Одних бросили матери сразу после рождения — и замерзли они в своих корзинах у чужих дверей; другие «задохлись у чухонков», которым эти дети были отданы на содержание из сиротских приютов для подкидышей; третьи умерли в неурожайный год «у иссохшей груди» своей матери; четвертые угорели от смрада в вагонах третьего класса.

Удивительный талант писателя позволил Достоевскому вплести в канву маленького рождественского рассказа (в четыре страницы) истории «оскорбленных» детей, истории с трагическим исходом. («Оскорбленными» называет писатель малолетних преступников — обитателей детской колонии, о которой он рассказывает в следующей статье, помещенной в «Дневнике писателя за 1876 год» после рассказа «Мальчик у Христа на елке»).

Пусть истории этих детей преподносятся в виде газетной информации в одну строчку, тем не менее эти сообщения воспринимаются как отголоски трагических событий. И мы не можем согласиться с общепринятым мнением, что в финале рассказа Достоевский пытается утешить читателя хотя бы той призрачной радостью, которая выпала на долю мальчика в предсмертном сне (он будто бы обретает покой, блаженство, тепло — словом, всё, чем был обделен в жизни)¹⁰. Да и слишком реалистичен финал рассказа, чтобы читатель мог утешиться галлюцинациями замерзающего ребенка: «Но вот в том-то и дело, мне всё кажется и мерещится, что всё это могло случиться действительно, — то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об ёлке у Христа — уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать» (XXII, 17).

«Мальчик у Христа на елке» — самый несвяточный рассказ в ряду рождественских произведений. Ребенку «одинок и жутко», оборваны не только социальные связи, но и родственные; в памяти остался лишь городишко, где «по ночам такой черный мрак», но там было тепло и «ему давали кушать». Его одиночество не согрето даже воспоминаниями о матери¹¹.

Сюжет рассказа не обрывается со смертью мальчика: повествование об отверженных детях продолжено в следующей статье, посвященной колонии малолетних преступников. Да и предвещает события, описанные в «Мальчике у

Христа на елке», опять-таки рассказ о детях из неблагополучных семей – маленьких попрошайках («Мальчик с ручкой»), который начинается с признания Достоевского: «Дети странный народ, они снятся и мерещатся» (XXII, 13). Снова чрезмерное сосредоточение внимания на обездоленных детях. На этот раз писателем описана судьба мальчишки лет семи. В самый лютей мороз легко одетый, «почти по-летнему», он в рождественские праздники просил милостыню («ходил с ручкой»). Достоевский потом узнал, что их великое множество. Как правило, они изо дня в день повторяют какую-то надуманную историю, часами ходят по городу с протянутой рукой и, набрав немного мелочи, возвращаются в какой-нибудь подвал. Там их ждет «шайка халатников», которая пьянствует кряду уже несколько дней; здесь же их пьяные жены и голодные дети. Мальчишку, конечно, немедленно отправляют за вином, и попойка продолжается. «В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пересекшимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол ...» (XXII, 13–14). А чуть мальчишка подрастет, его ждет фабрика, но заработанные деньги он обязан приносить халатникам. Однако ещё задолго до фабрики эти дети становятся преступниками: с восьми лет начинают воровать, шатаются по городу, ночуют в заброшенных подвалах, терпят тысячу лишений ...И всё это во имя мнимой свободы – лишь бы сбежать от халатников и «бродяжить уже от пау». Будто время остановилось, а может *эти* дети и живут вне времени, ибо оно ничего не значит для них. «Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однако же, все факты» (XXII, 14). До них никому дела нет. Общество отвернулось от них, и они мстят обществу, сами того не желая: создают большие неудобства своим поведением, а порою и своим присутствием. В «Мальчике у Христа на ёлке» блюститель порядка проходит мимо и отворачивается, «чтоб не заметить мальчика» лет пяти-шести, который, по всему видно, заплутался в чужом городе. Да разве за всеми уследишь ... Их же «тьма-тьмушкая», не имеющих ни роду ни племени.

Герои романа «Идиот» Ипполит Терентьев и Бахмутов помогают потерявшему работу (совершенно незнакомому человеку) снова получить место. В пылу душевного подъёма Бахмутов с восторгом говорит, как много значит даже «единичное доброе дело». Ипполит же уверен, что вся человеческая природа зиждется на добре: «Кто посягает на единичную «милостыню», ... тот посягает на природу человека и презирает его личное достоинство ...Единичное добро останется всегда, потому что оно есть потребность личности, живая потребность прямого влияния одной личности на другую... Бросая ваше семя, бросая вашу «милостыню», ваше доброе дело в какой бы то ни было форме, вы отдаете часть вашей личности и принимаете в себя часть другой; вы взаимно приобщаетесь один к другому; ещё несколько внимания, и вы вознаграждаетесь уже знанием, самыми неожиданными открытиями» (VIII, 335 – 336).

И опять-таки Достоевский удивляет своим умением (скорее даже дарованием) вникать в проблему, которая тронула его, – 27 декабря 1875 года писатель посещает колонию малолетних преступников. Уже само название и начало статьи («Колония малолетних преступников. Мрачные особи людей. Переделка порочных душ в непорочные. Средства к тому, признанные наилучшими. Маленькие и дерзкие друзья человечества»), в которой Достоевский делится своими впечатлениями, вселяет надежду в сердце

читателя: «На третий день праздника я видел всех этих «падших» ангелов, целых пятьдесят вместе. Не подумайте, что я смеюсь, называя их так, но что это «оскорбленные» дети – в том нет сомнения. Кем оскорбленные? Как и чем и кто виноват? – всё это пока праздные вопросы, на которые нечего отвечать, а лучше к делу» (XXII, 17). В колонии, конечно, его ознакомили с биографиями многих малолетних преступников. Их детски наглые, неосознанные выходки и поступки могли бы поразить не только воображение рядового посетителя, но и великого писателя, которому долгие годы приходилось делить участь каторжника, однако Федор Михайлович в статье обходит стороной подобного рода факты. Перед нами детские судьбы, исковерканные, искаленные, но всё, что происходило с ними ранее, следует оставить в прошлом, ибо всё то не суть важно. Достоевского более всего волнует, какие трудности возникают в колонии при воспитании беспризорников, как сложится их жизнь в будущем... И конечно же, писатель не обходит вниманием ту среду, «продуктом» которой (как выразился он по другому поводу) являлись малолетние преступники. Дети поступают в колонию до такой степени «дикими», что даже тринадцатилетние мальчики во сне справляют нужду в постели, и это не по причине какой-то болезни, а просто по незнанию элементарных норм поведения. Иные из них ничего не знают о себе и о своем социальном положении. Писатель уверен, что мрачные картины детства «будут сниться им всю жизнь в страшных снах». Такова горемычная доля детей, лишённых семьи и дома. «Понятно также после того, во что обращается, наконец, эта маленькая, дикая душа при такой покинутости и при такой изверженности из людей» (XXII, 19). Вместе с тем, по мнению Достоевского, нет ни одной мужицкой семьи, даже «самой бедной», в которой ребёнок не был бы научен всему тому необходимому, о чем беспризорные дети и представления не имеют, ибо дети в семье едва ли не каждое мгновение ощущают свою связь с родными и близкими, а с годами осознают и своё место на этой земле.

Колония расположена в лесу, в деревянных домах, условия содержания детей неплохие. На строительство каждого дома было пожертвовано около трех тысяч рублей (сумма немалая по тем временам). В колонии всего лишь пятьдесят воспитанников, хотя она рассчитана на 70 человек. Малолетние преступники поделены на группы, называемые «семьями», в них от двенадцати до семнадцати человек и свой воспитатель, который живёт вместе с воспитанниками и даже одеждой своей не отличается от них.

Достоевский уверен, что перевоспитание этих отверженных детей увенчается успехом и колония для них станет домом, если воспитатели сумеют «соединить задачи колонии с своею собственной целью жизни...» (XXII, 25). Нужна хотя бы некоторая самоотверженность, и Достоевский не случайно говорит с укоризной о священниках, преподавателях закона божия, которые десятками бросают школы, требуя повышения жалованья. Вот и в колонии нет своего «батюшки». Достоевский понимает, что времена уже не те, но всё же вспоминает о древних проповедниках Евангелия, «которые ходили наги и босы, претерпевали побои и страдания и проповедовали Христа без прибавки жалованья» (XXII, 24).

Диалог с читателем на тему воспитания, начатый в первой же статье январского номера «Дневника писателя. 1876», продолжается во всех главах указанного номера.

Напомним, что писатель во «Вступлении» к «Дневнику писателя. 1873» спрашивает, о чем он будет говорить, и отвечает: «Обо всем, что поразит меня или заставит задуматься» (XXI, 7). И став редактором «Гражданина», Достоевский выразил уверенность: «Гражданин должен непременно говорить с гражданами, и вот в том вся беда его!» (XXI, 7). Говорить со своим народом стало для Достоевского и бедой, и радостью. Тихий мерный голос писателя звучал по всей России, зачастую этот голос не вызывал бурных споров, но он, словно звук, издаваемый камертоном, всегда служил мерилом... Мерилом доброты, милосердия, сострадания, гуманности.

Писатель далеко не гость в колонии, который по возвращении домой может забыть о детях и об их трудных судьбах: «...мне всего интереснее было всмотреться в их лица» (XXII, 21). Лица ребят не удивляют ни дерзостью, ни смелостью выражения. Достоевский не увидел ни одного глупого лица, «напротив, есть даже очень интеллигентные лица». Однако писатель делает неожиданный вывод: «Дурных лиц довольно, но не физически; чертами лица все почти недурны; но что-то в иных лицах есть как бы уж слишком сокрытое про себя» (XXII, 22). Воспитанники достаточно развязны, нисколько не конфузятся, вместе с тем писатель и смеющихся лиц почти не видел.

В статье «Несколько слов о Жорж Занде» («Дневник писателя за 1876 год») Достоевский с благоговением говорит о недавно умершей писательнице, которая, как никто, верила «в достижение идеалов»: «Она верила в личность человеческую безусловно (даже до бессмертия её), возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою – в каждом своем произведении и тем самым совпадала и мыслию, и чувством своим с одной из самых основных идей христианства, то есть с признанием человеческой личности и свободы её (а стало быть, и её ответственности)» (XXIII, 37).

Писатель так же видит в каждом воспитаннике человека, личность, но при этом предостерегает от излишнего сюсюканья. В старину умели впадать из одной крайности в другую: зачастую в одной и той же семье ребенок не был огражден от розог, шлепков и даже побоев и в то же самое время чадолюбивые родители могли стать олицетворением любезности и сердобольности. Вот и в колонии «до тонкости предупредительное обращение» воспитателей с мальчиками показалось Достоевскому несколько надуманным, «натянутым». Даже к самым маленьким в колонии обращаются на *вы*, что, по мнению писателя, является серьезной ошибкой, ибо, попав в колонию, малолетние преступники «сочтут это лишь за господскую затею». «Ведь не поверит же он в самом деле, что он, видевший такие непомерные виды и выслушивавший самую неестественную брань, наконец, проворовавшийся до потери удержу, так вдруг заслужил такое господское обращение. Одним словом, *ты*, по-моему, было бы более похожим на реальную правду в настоящем случае, а тут как бы все немного притворяются» (XXII, 22). Важнее, чтобы дети видели в воспитателях не гувернеров, а *отцов* и вместе с тем поняли, «что сами они – всего лишь дурные дети, которых надобно исправлять». Тут, конечно, отец не столько человек опекающий, а взрослый, состоящий в духовном родстве с ними, на которого можно равняться, которому можно доверить свои незамысловатые детские тайны.

Тем не менее Достоевский не столь уж и категоричен; как он считает, через год, другой воспитанники уйдут из колонии и снова окажутся в гуще жизни, а услышав брань либо столкнувшись с грубостью или иной прозой

жизни, с умилением вспомнят свою колонию, где впервые почувствовали тепло человеческих, быть может, и семейных отношений.

Сомневаясь в том, что чересчур утонченное обращение с воспитанниками не всегда может тронуть их сердца, писатель вместе с тем призывает воспитателей «проникнуть в болезненную душу глубоко ожесточившегося и совершенно не знавшего доселе правды молодого преступника» (XXII, 25). И опять-таки великий гуманист поражает своей верой в жизнеутверждающие силы русского народа. Через месяц в февральском номере «Дневника писателя. 1876», в статье «О любви к народу. Необходимый контракт с народом», писатель напишет проникновенные слова, звучащие как заповеди: «Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает ... Нет, судите наш народ не по тому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать» (XXII, 43). Таким образом, Достоевский в двух-трех номерах «Дневника писателя. 1876» сумел наметить основные критерии семейного и общественного воспитания будущих граждан великой страны, а также затронул проблемы образования и воспитания беспризорников и малолетних преступников, отбросив всякую фальшь, заговорил о святынях, перед которыми русские преклоняются не «из ложного пристрастия». «Святыни наши не из полезности их стоят, а по вере нашей» (XXII, 72). Писатель уверен, что даже святыню семьи любят за её истинную святость, а не только потому, что она является опорой государства. Святыни в России столь крепки, что ни одна из них «не побоится свободного исследования», и крепость семьи не пошатнется, «если, временами, будут исторгаемы плевелы ... будет изобличено и преследуемо даже злоупотребление родительской власти» (XXII, 72). С этой целью писатель даже предлагает пересмотреть ряд законов и привести их в соответствие с состоянием общества.

Обратимся снова к статье о колонии малолетних преступников, которую писатель заканчивает на весьма оптимистической ноте. Он рассказывает о чиновнике, который, из сострадания к крепостным крестьянам, копил из своего скромного жалованья, чтобы выкупить кого-нибудь на волю. Чиновник отказывал себе и своей семье во всем, но все же сумел выкупить в течение десятилетий трех-четырёх крестьян. «Всё это произошло безвестно, тихо, глухо» (XXII, 25). Сей «"идеалист сороковых годов"» вызывает у Достоевского чувство глубокого уважения, хотя и находит писатель его желание "побороть всю беду" наивным. «Я ужасно люблю этот комический тип маленьких человечков, серьёзно воображающих, что они своим микроскопическим действием и упорством в состоянии помочь общему делу, не дожидаясь общего подъёма и почина. Вот такого типа человек пригодился бы, может быть, и в колонии малолетних преступников ...» (XXII, 25).

Достоевский всегда относился с умилением к людям, способным творить добро безвозмездно. Один из героев романа «Идиот» Ипполит передает рассказ о старичке генерале (старшем враче московских тюремных больниц Ф.П. Гаазе), который ходил по острогам, помогал ссыльным кое-какими вещами и деньгами (хотя мог раздать на каждого не более двадцати копеек), говорил с преступниками «как с братьями, но они сами стали считать его под конец за отца» (VIII, 335). Достоевский вложил этот рассказ о благородных деяниях старичка в уста обреченного на смерть юноши. Совершая даже «единичное добро», человек и представить не может, какое участие он будет «иметь в

будущем разрешении судеб человечества» (VIII, 336). И в этом-то и будет «отказано» Ипполиту: ему осталось жить месяц, другой.

Но более всего Ипполита поразило то, что, быть может, по прошествии двадцати лет кто-нибудь из каторжников, «убивший каких-нибудь двенадцать душ, заколовший шесть штук детей» (VIII, 335), вдруг вспомнит: «А что-то теперь старичок генерал, жив ли ещё?» При этом, может быть, даже и усмехнется, — и вот и только всего-то. А почему вы знаете, какое семя заброшено в его душу навеки этим «старичком генералом», которого он не забыл в двадцать лет? » (VIII, 336).

В первой же главе январского номера «Дневника писателя. 1876» мы находим удивительные слова о смысле жизни: «Самоубийца Вертер, кончая с жизнью, в последних строках, им оставленных, жалеет, что не увидит более «прекрасного созвездия Большой Медведицы», и прощается с ним ... Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он сознавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес божиих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стало быть, равна ему и роднит его с бесконечностью бытия ... и что за всё счастье чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто он? — он обязан лишь *своему лику человеческому*.

«Великий Дух, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне».

Вот какова должна была быть молитва великого Гете во всю жизнь его» (XXII, 6).

В творчестве Достоевского можно найти множество историй, подобных рассказам о сердобольном чиновнике и старичке генерале. Все они почерпнуты из реальной жизни и, как правило, были хорошо знакомы читателю XIX века, однако на страницах произведений великого писателя эти истории приобретают новое звучание и становятся не только напоминанием о жизнеутверждающей силе добра, но и доказательством его осуществимости.

В нашей статье рассмотрены взаимоотношения отцов и детей, говорится о судьбах детей, лишенных семейного тепла и любви, о «святыне семье», о проблемах общественного воспитания беспризорников... И по глубокому убеждению великого писателя, многие перечисленные проблемы можно решить, если окружить детей любовью и родительской заботой.

1 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах. Т. 21. Л., 1972–1990, С. 74. В дальнейшем ссылки на это издание будут приводиться в тексте книги с обозначением тома римской цифрой, а страницы — арабской.

2 Белинский В.Г., Собр. соч. в 9-и томах. Т. 7. М., 1981, С. 76–77.

3 Там же, С. 76.

4 Там же, С. 367.

5 Следует отметить, что в указанных номерах были помещены и другие статьи («О любви к народу. Необходимый контракт с народом», «Мужик Марей»), в которых писатель ставит «вопрос о народе и о взгляде на него, о понимании его ...» (XXII, 44), о народных идеалах, об их преемственности. «В народ как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь всё, заключает в себе всякую силу, а что всё, о чем говорили ему и чему учили его доселе отцы, — всё вздор» (XXII, 30).

В «Записной тетради 1875–76 г.» Достоевский затронул проблему бездуховности воспитания юного поколения. В России участились самоубийства; в первой же статье

«Вместо предисловия о Большой и Малой Медведицах, о молитве великого Гёте и вообще о дурных привычках», помещенной в возобновленном «Дневнике писателя. 1876», Достоевский объясняет причину столь пагубного явления: «все проедены самолюбием» (XXII, 5). Тема эта продолжена в ноябрьском номере «Дневника писателя. 1876» в рассказе «Кроткая».

6 Диккенс Ч. Собр. соч. в 10-и томах. Т. 8. М., 1986, С. 8.

7 Он посылает на святки своему клерку в подарок самую большую индюшку, прибавляет ему жалованья, а больному сыну клерка Малютке Тиму, «который... вскоре совсем поправился» (по канонам святочного рассказа), Скрудж до конца своих дней «был всегда вторым отцом». Добрые дела преобразили и жизнь самого Скруджа: «Он говорил это, довольно посмеиваясь, и, довольно посмеиваясь, уплатил за индюшку, и, довольно посмеиваясь, заплатил за кэб, и, довольно посмеиваясь, расплатился с мальчишкой, и, довольно посмеиваясь, опустился, запыхавшись, в кресло и продолжал смеяться, пока слезы не потекли у него по щекам». (Курсив мой, – А.Р.). Диккенс Ч. Собр. соч. в 10-и томах. Т. 8., С. 67.

8 Там же, С. 10.

9 Через несколько лет Л.Н. Толстой в статье «Так что же нам делать?» напишет о том, как его поразила городская бедность, которая в корне отличалась от деревенской: нищие в Москве «не нищие с сумой и Христовым именем», как в деревне, городские нищие и милостыню-то не просят, а всего лишь «стараятся встретиться с вами глазами». Но более всего удивило Толстого, что в городе было запрещено просить милостыню: «Как же это ... нищий Христов, а его в участок ведут?».

10 Ребенок из сказки Андерсена «Девочка со спичками» тоже замерзает в канун Нового года, но перед смертью ей почудилось, как бабушка взяла её на руки и они полетели «туда, где нет ни холода, ни голода, ни страха – к богу!». И уж совсем в духе святочной сказки звучат финальные строки: «Но никто не знал, какую красоту она видела, в каком блеске вознеслась вместе с бабушкой к новогодним радостям на небо!» (Андерсен Х.К. «Сказки, рассказанные детям. Новые сказки». М., 1983, С. 243)

11 В «Записках из Мертвого дома» Достоевский с особой теплотой рассказывает о встрече праздника Рождества в остроге: «Уважение к торжественному дню переходило у арестантов даже в какую-то форменность... Кроме врожденного благоговения к великому дню, арестант бессознательно ощущал, что он этим соблюдением праздника как будто соприкасается со всем миром, что не совсем же он, стало быть, отверженец, погибший человек, ломоть отрезанный, что и в остроге то же, что у людей. Они это чувствовали; это было видно и понятно (IV, 105). Писатель восклицает: «... кто знает, сколько воспоминаний должно было зашевелиться в душах этих отверженцев при встрече такого дня!» (IV, 104).